



С. ПАРХОМОВСКАЯ ДРУГ ОТЦА

Моего отца, Леонида Первомайского, связывала с Павлом Антокольским тесная, прочная и трогательная дружба.

В нашем киевском доме Павел Григорьевич и его жена впервые появились перед войной, году, пожалуй, в 1938-м. На меня, десятилетнюю, они произвели впечатление иностранцев. Павел Григорьевич был одет в твидовый, очевидно заграничный, костюм с короткими, чуть ниже колен брюками гольф, схваченными снизу манжетами. Пиджак был спортивного покроя. Дополняли костюм высокие клетчатые носки и клетчатая рубашка, украшенная галстуком-бабочкой. В зубах торчала трубка, а в руке он держал палку, хотя по всему было видно, что для ходьбы она ему не нужна. Тогда ему было немногим больше сорока.

Зоя Константиновна, похожая на мальчика, со светлой челочкой и стрижкой конца двадцатых годов, тоже была вся в мелкую клеточку, а может быть, это и не тогда она была в клеточку, а в какую-то из других наших встреч. Но запомнила я ее именно такой: по-английски спортив-

ной, никогда ничего цветастого, только клетка, полоска, горошек, мягкие тона. Она была актрисой Театра имени Вахтангова, играла небольшие, но очень выразительные роли, а потом долгие годы преподавала в Щукинском училище. Человеком она была, несомненно, одаренным, остро воспринимала красоту, любила старину, красивую резную мебель. В их доме и на даче было много со вкусом собранных красивых вещей, и при этом все было удивительно функционально: здесь люди жили, а не перемещались среди музейных экспонатов.

Первое появление Антокольских у нас связано с одним забавным воспоминанием. Когда папа и мама стали знакомить их со мной и с бабушкой, Павел Григорьевич с шутилой галантно поцеловал мне руку. Юмора я, десятилетняя, конечно, не заметила и крайне возмущилась. Я тут же безапелляционно и с большим апломбом заявила, что я пионерка и никому не позволю так со мной обращаться, после чего забралась под свой письменный стол, откуда меня не могли вытащить до самого их ухода. Взрослые рассмеялись и ушли в другую комнату, а я под столом действительно по-настоящему страдала, и воспоминание об этом случае еще долго преследовало меня, пока с годами я не поняла и самого Павла Григорьевича, и его характер.

Папа нежно любил Павлика, как его у нас в семье называли. В письмах он называет его братом, так он не обращался более ни к кому. И этой нежностью и горячей любовью пронизаны все их письма. В нашем семейном архиве таких писем немало. Хочется здесь привести отрывок из одного папиного письма (от 15 октября 1964 г.):

«Дорогой мой Павличек! Я хотел было уже просить тебя, чтобы ты прислал мне для прочтения твои Лермонтовские сказки, как вдруг... Впрочем, не вдруг. Это было предопределено всем предшествующим развитием человечества. Я включил радио и снова услышал твой голос, сквозь усталость, хрипоту и одышку узнал твою страсть, предельную самоотдачу, а затем с первой же фразы, которая не имела начала, понял, что ты читаешь именно то, чем хотел со мной поделиться.

Нужно ли говорить, что твоя сказка — быть о том, как были написаны последние шестнадцать строк стихотворения «На смерть поэта», — производит сильнейшее впечатление как своей прозаической точностью, так и тем неотразимым и недоступным прозаикам по преимуществу бли-

станием и трепетом, которые вносит в прозу истинный поэт?

Твое увлечение Лермонтовым, плодотворное и поучительное, не нуждается ни в объяснении, ни в извинениях. Для меня, по крайней мере. Ты знаешь, как я люблю Лермонтова и как он мне близок. Ни Гейне, ни Петефи, которыми я увлекался до самозабвения, никогда не были так созвучны мне, как поручик Тенгинского полка, заброшенный в водоворот судеб, посеянный во тьму своего времени, из которой только могучий порыв мощного мятежного духа мог вынести его к вечному существованию вопреки краткости и конечности человеческой жизни.

Две мысли приходят мне в голову, когда я думаю о твоей работе над Лермонтовым.

Тебе помогает понять его полярная противоположность твоей и Лермонтова умственной и эмоциональной структуры, аналитическая ясность твоего ума, способного понять очень многое, казалось бы, самое отдаленное в широчайшем смысле этого слова. И второе: твоя любовь к молодежи и умение понимать ее с вершин своего возраста и опыта. Лермонтов ведь молодой поэт, и этим-то он тебе и близок, как Евтушенко, или Ахмадулина, или все прочие таланты и посредственности, которым ты дарил и даришь пыл и жар своего сердца.

Ты очень добр, Павличек, сколько бы ни притворялся разумным эгоистом, каким однажды назвался... Чепуха! Ни эгоизм не может быть разумным, ни ты не можешь быть эгоистом: лишний раз это подтверждает вся та страсть, которую ты вкладываешь в утверждение всего растущего, шумящего и волнующегося вокруг нас, — это свойство не только ума, но и сердца».

* * *

Папа в чем-то втайне завидовал Антокольскому, его неукротимому темпераменту, его неистовству, его взрывчатости, которых отцу, видимо, не хватало или которые он, в силу тех или иных причин, не мог проявить, хотя подспудно в себе чувствовал.

Приезжая в Москву, папа часто останавливался у Антокольских не потому, что не мог жить в гостинице, а потому, что, как и многие другие, очень любил этот простой гостеприимный дом, в котором всегда звучали голоса друзей. Однажды мне тоже пришлось остановиться в доме Антокольских на улице Щукина. Я спала на диване в ка-

бинете Павла Григорьевича, в окружении его книг, его картин, его скульптурных фигурок, его керамики. Большое трехстворчатое окно было увито плющом, по дому бегал большой черный пудель, из шерсти которого умелая хозяйка, особенно в холодные годы войны, вязала варежки, шапки, носки, свитера и даже халаты. Утром на столе в столовой стоял большой чайник с кофе, лежали большие куски сыра и ветчины, от которых отрезали ломтики. На обед добрый дух семьи Варя готовила какого-нибудь «куренка», просто швырнув его в большую кастрюлю и опустив в кипящий бульон макароны. Вареву было не очень съедобное, но все ели и похваливали. Начиная уборку, Варя не могла обойтись без прибаутки: «Белый лебедь воду пил, насвинячил, замутил». Может быть, она сама и сочинила эту частушку, потому что никогда больше я такой не слышала. В этом доме ели, пили, занимались хозяйством, болели, хоронили близких, но главным здесь был высокий дух поэзии. В военные годы дом Антокольских стал местом сбора приезжавших с фронта военных корреспондентов — писателей и поэтов. Сохранилась фотография, на которой папа в военной форме снят вместе с Антокольским у деревянных ворот ограды их дома. Сейчас ворот нет, сохранилась только ограда.

В доме всех ждало душевное тепло, роскошное по тем временам пиршество — традиционный винегрет и картофельные оладьи, бог весть на чем изжаренные. Фронтовики привозили спирт, консервы, новые стихи. Засиживались за полночь и из-за комендантского часа оставались ночевать.

Я бывала у Антокольских в 1943—1944 годах, когда мы жили в Москве и отец приезжал с фронта.

Зоя Константиновна не меньше, чем Павел Григорьевич, любила эти застолья, эти задушевные беседы. Время было трудное, но удивительно высокое, наполненное.

Павел Григорьевич и Зоя Константиновна очень подходили друг другу. Казалось, они прожили вместе всю жизнь. Я помню со времени войны, как помню по сей день, изумительные стихи о леди Гамильтон и о старом партизане, похожем на Тургенева.

Антокольский перевел многие стихи моего отца. Сохранилась киноплёнка, где он читает стихотворение «Снег летит...». Отец переводил Антокольского меньше. На Украине мало вообще переводятся современные русские поэты. Очевидно, считается, что, коль скоро все могут читать их в оригинале, в переводе нет большого смысла.

* * *

Зоя Константиновна умерла намного раньше Павла Григорьевича, хотя была моложе его. Несколько дней она скрывала от окружающих боли в сердце... Хоронили ее на Востряковском кладбище. Стоял сильный мороз. Павел Григорьевич, сам не так давно перенесший тяжелый инфаркт, все время стоял без шапки, и все очень волновались, что с ним что-нибудь случится. Но, вероятно, и тут помог ему его неукротимый дух, удерживавший его в этой жизни даже тогда, когда он стал совсем немощен и слаб.

Дочь Павла Григорьевича Наталья Павловна признавалась мне потом, что не могла и подумать, что Зоя уйдет из жизни раньше ее отца. «Я думала, — говорила она, — когда папы не станет, мы с Зоей вместе будем заниматься его литературным наследием, его архивом». Но судьба распорядилась по-иному. После смерти Зои Наташе пришлось взять на себя всю тяжесть цементирования большой и разветвленной семьи. ...Незадолго до смерти Павла Григорьевича я зашла к ним на дачу. В теле бурного Павлика, казалось, тлел только дух. Он подарил мне рисунок — портрет моего отца работы московского художника Ивана Бунина. Видимо, была у Павла Григорьевича потребность перед вечностью навести порядок в делах. «Пусть будет у тебя», — сказал он.

Когда Антокольский умер, мы с мужем путешествовали по Волге и узнали об этом по телефону от сына.

С уходом Павла Григорьевича ушла какая-то натянутая струна и из моей жизни. Последний раз он был у нас на Арбате уже после смерти отца, в день его рождения, который мы ежегодно отмечаем, 17 мая 1976 года, слушал мое чтение не опубликованного еще тогда рассказа Первомайского «Улыбка Джоконды» и написал об этом хорошие слова в нашей памятной книге. Я бережно храню письма Антокольского Первомайскому, его книги с автографами, подаренные отцу, а потом и мне. И его фотографии. И его рисунки. И его вырезанные из периодики и домашним способом переплетенные публикации, которые он присылал отцу с письмами. Храню все, что может напомнить мне об этом человеке.

1983